

# «*Déjà vu* и конец истории»: ВОЗМОЖНОСТИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ<sup>1</sup>

ИГОРЬ  
КОБЫЛИН

## ГЕНЕЗИС ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

**Н**ынешняя завроженность «дезертирством» истории стала предметом недавнего исследования Паоло Вирно<sup>2</sup>. Поставив себе задачей проследить концептуальную связь между теорией памяти и философией истории, Вирно обращается ко всем известному феномену *déjà vu* – опыту ложного узнавания. Прежде, чем по необходимости кратко изложить довольно сложную аргументацию, представленную в его работе, надо отметить, что индивидуальная память трактуется здесь в «сверхличном» и предельно непсихологическом смысле. В самом начале книги Вирно предупреждает, что читатель не найдет тут ни привившихся прустовских «мадленок», ни рассуждений – в духе, добавим мы, все еще модных *memory studies* – о том, как люди запоминают «исторические события» и благодаря каким коммеморативным практикам хранят эти ненадежные во всех отношениях воспоминания. Речь в книге Вирно идет о совершенно



Игорь Игоревич Кобылин  
(р. 1973) – редактор  
журнала «Неприкосновенный запас».

- <sup>1</sup> Статья является продолжением работы, опубликованной в предыдущем номере «НЗ»: Кобылин И. «Подъем переворотом»: история в чрезвычайном положении // *Неприкосновенный запас*. 2022. № 4(144). С. 7–27.
- <sup>2</sup> См.: VIRNO P. *Déjà Vu and the End of History*. London; New York: Verso, 2015.



ПОЛИТИКА  
КУЛЬТУРЫ

другом: память – это не столько контейнер для уже готового исторического содержания (не важно, только биографически или уже и общественно значимого), сколько способность, в принципе делающая нас историческими существами. И, соответственно, если мы сумеем разобраться с тем, как устроена эта способность, нам станет понятнее и смысл историчности, которой отмечен наш опыт. В этом плане, согласно Вирно, индивидуальная память с ее всегда партикулярным содержанием может послужить инструментом «онтогенетического переосмотра» исторического бытия в целом и его теоретических концептуализаций в частности.

Что же такое *déjà vu* и почему именно его Вирно берет в качестве отправного пункта своего исследования? Чем так важен этот странный сбой восприятия, в результате которого новый опыт предстает в качестве уже бывшего, то есть в качестве воспоминания? Очевидный ответ: *déjà vu* – это ключ к пониманию пост(пост)модернистской культуры<sup>3</sup>, способной лишь обсессивно коллажировать фрагменты прошлого, так что любой *новый* культурный продукт вызывает у взрослого потребителя тоскливое чувство *уже-знакомо* – ну, или ретроманское удовольствие (лже)узнавания, если само навязчивое повторение этого удовольствия кому-то еще не наскучило. Ответ менее очевидный можно найти у Анри Бергсона, которого Вирно выбирает в качестве своего главного собеседника для первой части книги.

Для Бергсона феномен *déjà vu* не является патологией. Напротив, он настолько естествен, что возникает вопрос, почему ложное узнавание вспыхивает довольно редко, а не «происходит каждый момент»<sup>4</sup>. Именно в опыте *déjà vu* мы сталкиваемся с «обнажением приема» – мгновение, когда приоткрываются истинные механизмы работы памяти и восприятия. Дело в том, что, по Бергсону, память не следует за восприятием – ее нельзя рассматривать в качестве отпечатка, призрачной копии воспринятого, по определению, более слабой, чем это последнее. Память и восприятие действуют одновременно, различаясь при этом не по интенсивности, а по природе. Они фиксируют один и тот же момент настоящего, но делают это различными способами. Воспоминание – это всегда воспоминание настоящего, синхронное его восприятию:

«По мере того, как создается восприятие, его воспоминание вырисовывается возле него, как тень рядом с предметом. Но сознание

3 См.: Павлов А. *Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время*. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019; см. также рецензию на эту работу: Кобылин И. *Великий пост- и другие префиксы, или Буксующая история нашего времени* // Неприкосновенный запас. 2020. № 3(131). С. 318–324.

4 Бергсон А. *Воспоминание настоящего* // Он же. *Творческая эволюция. Материя и память*. Минск: Харвест, 1999. С. 1025.

не замечает его в нормальном состоянии, подобно тому, как глаз не замечал бы нашей тени, если бы он освещал ее всякий раз, как поворачивался к ней»<sup>5</sup>.

ИГОРЬ КОБЫЛИН  
«DÉJÀ VU И КОНЕЦ  
ИСТОРИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ  
И РЕАЛЬНОСТЬ

Практический импульс к действию, «общее внимание к жизни», характерное не только для индивида, но для вида в целом, оттесняют воспоминание о настоящем на второй план. И только когда это внимание ослабевает – а это и есть момент *déjà vu*, – настоящее предстает перед нами сразу в двух своих гетерогенных аспектах: перцептивном и мнезическом.

***Déjà vu* – это ключ к пониманию пост(пост)модернистской культуры, способной лишь обсессивно коллажировать фрагменты прошлого, так что любой **новый** культурный продукт вызывает у взрослого потребителя тоскливое чувство уже-знакомого или ретроманское удовольствие (лже)узнавания.**

Соглашаясь с анализом Бергсона в целом, Вирно ставит под вопрос этот последний тезис: *déjà vu* действительно сопровождается ощущением безнадежности и апатии, но что здесь является причиной, а что следствием? Ничто не мешает перевернуть утверждение Бергсона и объявить ложное узнавание причиной апатичного безразличия к будущему. Чтобы выйти из порочного круга, необходимо подробнее рассмотреть то «различие по природе» между памятью и восприятием, о котором говорит Бергсон. Все в том же эссе он вскользь определяет это различие как *модальное*:

«Наше актуальное существование, по мере того, как оно разворачивается во времени, удваивается существованием виртуальным, изображением в зеркале. Каждое мгновение нашей жизни дает, следовательно, две стороны: оно актуально и виртуально, восприятие, с одной стороны, и воспоминание, – с другой. Оно расщепляется в то время, как наступает или, лучше сказать, оно состоит в самом этом расщеплении, ибо мгновение настоящего, будучи всегда переходом, неуловимой границей между непосредственным прошлым, которого уже нет, и непосредственным будущим, которое еще не наступило, обратилось бы в простую абстракцию, если бы именно не существовало подвижного зеркала, непрерывно отражающего восприятие в виде воспоминания»<sup>6</sup>.

5 Там же. С. 1026.

6 Там же. С. 1033.



Итак, восприятие отсылает к актуальному, память – к виртуальному или потенциальному. И опыт *déjà vu* – это парадоксальный опыт их одновременного переживания. Реальное (именно этого возможного) и возможное (именно этого реального) накладываются друг на друга, вызывая тягостное, почти депрессивное чувство уже-бывшего.

Вирно обращает наше внимание на странность распределения способностей и модальностей в этом фрагменте бергсоновского эссе. Действительно, разве память не является фиксацией того, что уже свершилось? Почему модальность виртуального/потенциального закрепляется именно за ней? Не логичнее ли было бы соотнести возможное с чем-то, еще не реализованным, то есть – если мы возьмем темпоральный план – с измерением будущего? В «Воспоминании настоящего» нет ответов на эти вопросы – Бергсон, высказав продуктивное предположение, не стал разрабатывать его дальше. Однако в небольшой статье «Возможное и действительное», формально не связанной с темой *déjà vu*, можно найти рассуждения, позволяющее разобраться с этой загадочной связкой памяти и виртуальности. Бергсон пишет:

«По мере того, как создается действительность, непредвидимая и новая, ее образ отражается позади нее в безграничном прошлом; так обнаруживается, что она испокон веку была возможна; но именно в этот момент она и делается таковой – потому я и сказал, что ее возможность, которая не предшествует действительности, будет ей предшествовать, как только действительность появится»<sup>7</sup>.

Последняя фраза о возможности, которая *будет предшествовать* действительности в момент осуществления последней, обнажает парадокс, лежащий в основе бергсоновской концепции темпоральности. Как будто, помимо «датированного» прошлого как череды свершившихся событий (ставших «историческими фактами»), есть еще и некое виртуальное «предшествование», прошлое-вообще, прошлое как таковое или *форма прошлого (past-form)*. И теперь становится понятно, что подразумевается под различием «не по степени, а по природе»: хотя память и восприятие одновременно запечатлевают один и тот же «квант» настоящего, но модально они отделены друг от друга непроходимой стеной. В итоге, как поясняет Вирно, мы сталкиваемся здесь с систематическим анахронизмом, который в феномене *déjà vu* приобретает ложную, инвертированную форму – вместо того, чтобы придавать актуально случающемуся ауру потенциальности как всегда уже существовавшей возможности (это – в терминологии Вирно –

7 Он же. *Возможное и действительное* // Он же. *Избранное: сознание и жизнь*. М.: РОССПЭН, 2010. С. 159–160.

правильный, «трансцендентальный» тип анахронизма), *déjà vu* одевает само это актуальное в форму прошлого, выводя потенциальное из игры (это неправильный, «фактический» анахронизм).

Итак, связанное с возможностью/способностью прошлое-вообще, или чистая форма прошлого, структурированная как память, – это некое априорное, нехронологическое «до», вписанное в каждый акт восприятия. Вирно демонстрирует это на примере языка, вступая в полемику с лингвистической концепцией де Соссюра. Для Вирно язык – это не только система знаков (соссюрский *langue*), но и лингвистическая компетенция в целом, способность к артикулированному высказыванию, которая именно в качестве способности/возможности проявляется в каждом конкретном речевом акте.

«Язык сам по себе является чистым предыдущим – неопределенным “другим-тогда” [*other-then*]. Языковая способность – это никогда не существовавшее “тогда”, которое появляется “позади” моего актуального высказывания, в самый момент произнесения этого последнего. Язык – это прошлое-вообще [*past-in-general*] актов речи, недатируемое “до” любого единичного, неповторимо-го высказывания»<sup>8</sup>.

Однако, согласно Вирно, не только языковая, но любая другая способность – к мышлению, к получению удовольствия, к труду – должна рассматриваться в качестве такой виртуальной «формы прошлого» по отношению к единичным актам мышления, испытываемым удовольствиям или конкретным трудовым операциям. Но что еще важнее – это сложное отношение между памятью, возможностью/способностью и прошлым-вообще, с одной стороны, и восприятием, действительностью и актуальным настоящим, – с другой, наглядно демонстрирует нам потайной *генезис исторического времени*. История – как нечто отличное от телеологического разворачивания «ойкономии», неважно, разворачивается она по таинственному плану божественного провидения или согласно рационально постижимым законам экономического развития, – возможна только потому, что все фактически осуществленное тут же окутывается мощью потенциального. И это потенциальное неисчерпаемо – язык как «прошлое-вообще» сингулярного речевого события не исчерпывается ни самим этим событием, ни их бесконечной совокупностью.

«История существует потому, что необратимый поток настоящего в каждой точке пересекается тем, что мы называем “прошлым-вообще”: сингулярное “сейчас”, которому предшествуют другие син-

8 VIRNO P. *Op. cit.* P. 25.

ИГОРЬ КОБЫЛИН  
«DÉJÀ VU И КОНЕЦ  
ИСТОРИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ  
И ДЕЙТЕЛЬНОСТЬ



гулярные “сейчас”, само в себе таит темпоральную (но не хронологическую) связь между “до” предрасположения (прошлое настоящего) и “после” реализации»<sup>9</sup>.

## «НЕ-ТЕПЕРЬ» И ВРЕМЕННАЯ ТОТАЛЬНОСТЬ

Во второй части книги Вирно развивает и усложняет свой анализ, опираясь преимущественно уже не на Бергсона, а на Аристотеля и Канта. Основной вопрос, который здесь разбирается – и разбирается куда более нюансированно, чем в первой части, – можно сформулировать так: каковы же все-таки взаимоотношения между модальностями потенциального и актуального, с одной стороны, и времени, – с другой? Или еще точнее: вписаны эти модальности в уже существующий темпоральный порядок или они являются структурными условиями его возможности, то есть элементами механизма темпорализации?

**История – как нечто отличное от телеологического разворачивания «ойкономии» – возможна только потому, что все фактически осуществленное тут же окутывается мощью потенциального.**

Действительно, несмотря на уверения Бергсона, всегда существует соблазн представить потенциальность как звено в фактической событийной цепи: железо нагрелось и – потенциально – может расплавиться; кусок мрамора, лежащий перед скульптором, потенциально может превратиться в статую. Однако, замечает Вирно, потенциальность как таковая никогда не представлена в эмпирико-фактической последовательности событий: нагревшееся железо и кусок мрамора – это действительность сейчас так же, как позже действительностью будут расплавленное железо и статуя: сдвинувшись по хронологической шкале, они станут другими «сейчас». Потенциальность же без того, чтобы перестать быть самой собою, не в силах занять на этой шкале место: возможное – это то, что принципиально не способно явить себя ни в каком фактическом «теперь»; это «не-теперь», которое тем не менее каким-то образом существует и сохраняется в своей вечной «несейчасности».

Если пропустить тонкости дальнейших модально-онтологических спекуляций Вирно и сразу перейти к первому выводу, то окажется, что для него «не-сейчас» потенциальности и является тотальностью времени, или временем-как-целым, –

9 Ibid. P. 29.

странным измерением, которое ни явлено ни в одном отдельном моменте, ни в их совокупности. Это нехронологическое время, не делящееся на части, неисчерпаемое (именно потому, что как вечно не-актуальное оно не подвержено даже малейшей актуализации) и само в себе неизменное.

Итак, потенциальное – это время-вообще. Но верно и обратное: время-как-целое потенциально, а это значит, что его тотальность является незавершенной. Вирно так формулирует это парадоксальное положение:

«Мы должны рассматривать как единое целое то, что само по себе сущностно неполно. [...] Время может быть определено в качестве целого в той мере, в какой оно остается не-актуализированным (и наоборот – оно не актуализуемо в той мере, в какой является целым). Но в каком смысле что-то незавершенное – то, что и не может быть завершено, – квалифицируется как целое? Мы можем назвать это нечто целым только при одном условии: его незавершенность не должна быть относительной и временной, напротив – она должна носить абсолютный и постоянный характер»<sup>10</sup>.

Тотальное, но принципиально незавершаемое время является, по Вирно, точно такой же способностью/возможностью, как язык или труд. Как способность-сказать или рабочую силу нельзя разделить на части, некоторые из которых актуализируются, а оставшиеся дожидаются своей очереди, так и тотальное время не-присутствует только в своем открытом целом. И основная функция памяти – помнить об этом не-присутствии.

Теперь мы можем попробовать представить себе структуру темпоральности во всей ее сложности. В этой структуре пересекаются два плана: план диахронии (каждому «сейчас» априорно предшествует «не-сейчас» тотального времени) и синхронии (это виртуальное «не-сейчас» появляется вместе с актуальным «сейчас»). Кроме того, необходимо помнить, что, кроме прошлого-вообще, каждому «сейчас» хронологической прогрессии предшествует и фактическое прошлое – другие «сейчас», ставшие историческими фактами. И напряжение между временным порядком, который сам по себе не хронологичен, и хронологической прогрессией является истоком исторического:

«Мгновение, которое я проживаю – понимаемое как мгновение, в котором одновременно сосуществуют действительность и возможность, произносимое слово и языковая способность, выполняемая работа и рабочая сила, – будет отныне называться “историческим моментом”. [...] Безусловно, исторический момент есть не что иное, как настоящее в его генезисе – “после”, неотделимое от “до”»<sup>11</sup>.

**10** Ibid. P. 87.

**11** Ibid. P. 123.



Именно в этом контексте, полагает Вирно, идея Эрнста Блоха об «одновременности неодновременного» (*die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen*) получает свой полный смысл. Эта одновременность – уже не просто сосуществование различных социокультурных укладов в рамках одной условной «современности», как это было в концепции Блоха<sup>12</sup>. Одновременность неодновременного (или современность несовременного) становится нередуцируемым, трансцендентальным условием историчности вообще.

## DÉJÀ VU КАПИТАЛИЗМА, РАБОЧАЯ СИЛА И МЕТАИСТОРИЯ

Если в нашей индивидуальной психической жизни опыт *déjà vu* – то есть опыт ложного, «фактического» анахронизма – случается сравнительно редко, то коллективное ощущение исчерпанности истории становится сегодня практически постоянным. В чем же тут дело? Почему беспримерная историзация всего и вся, неуклонно нарастающая в европейской культуре в течение последних 150–200 лет, привела к коллапсу исторического сознания? Как будто история парадоксальным образом историзировала саму себя и саму же себя оставила в прошлом – вернее, все вокруг превратила в «уже-прошлое».

Отвечая на этот вопрос в третьей части работы, Вирно обращается к той способности/возможности, которую он до этого упоминал лишь вскользь. Речь, конечно, идет о рабочей силе, проблему которой – как с горечью об этом пишет Вирно – философы до недавнего времени обходили стороной.

Действительно, капитализм, который если и не запускает историю впервые, то уж во всяком случае придает ей неслыханное ускорение, выведя ее на прямую линию прогресса<sup>13</sup>, построен на свободной купле-продаже рабочей силы. Последняя, будучи чистой потенциальностью, отличается от актуальных трудовых операций и их результатов. Таким образом, капитализм – это единственная общественно-экономическая формация, которая превращает в товар возможность как таковую.

**12** См.: ВЛОСН Е. *Heritage of Our Time*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1991.

**13** Комментируя «Grundrisse» Маркса, Клод Лефор্ত так пишет о привносимом капитализмом историческом разрыве: «Отметим, что именно по отношению к капитализму все остальные общественные формации обнаруживают свое родство. Вместе с ним начинается кумулятивная история, условиями которой является двойное разделение труда и денег и труда и средств производства» (ЛЕФОРТ К. *Формы истории. Очерки политической антропологии*. СПб.: Наука, 2007. С. 206. Курсив мой). Но даже если остановиться на более раннем «Манифесте», то и там мы увидим, что с приходом капитализма «из самого сердца Великой Истории с ее медленным ритмом – где конфликты вызревают столетиями, а иногда тысячелетиями, всегда оставаясь неразрешенными, не приводящими непосредственно к какому-либо высшему способу производства, – появляется как ее порождение история, движущаяся с ускорением, история едва переводящего дух мира, увлекаемого потоком созидания и разрушения» (Там же. С. 192. Курсив мой).



Именно эта коммодифицированная потенциальность (чистая способность к труду) становится, как показал Маркс, источником прибавочной стоимости, а значит, в конечном счете, и загадкой тайны капиталистического накопления. В этом контексте становится понятным рождение нового диспозитива власти, которому Мишель Фуко дал имя биополитики. Фуко, как известно, скептически относился к причинным объяснениям, предпочитая действовать как «новый архивариус» (Делёз), то есть демонстрируя «дела» истории в их специфичности и редкости. Как архивариус Фуко подходит и к биополитике: ему важнее было зафиксировать этот диспозитив в его отличии от (и связи с) дисциплинарными(ми) техниками(ами) наблюдения и контроля и по возможности точно описать совокупность биополитических стратегий и тактик – в диапазоне от статистического учета населения до внедрения систем социальной медицины. Вирно же видит причинную связь между становлением капитализма и биополитикой. Уже в «Грамматике множеств» (2001) он пишет о «двусмысленной» концепции Фуко:

«Капиталист интересуется жизнью рабочего и его тело только по косвенной причине: это жизнь и это тело являются тем, что содержит способность, потенцию, *dynamis*. Живое тело становится управляемым не из-за его собственной ценности, но потому что оно является субстратом одной лишь вещи, которая действительно вызывает интерес, – рабочей силы как суммы всех разнообразных способностей человека (потенция говорить, думать, помнить, действовать и т.п.). Жизнь размещается в центре политики, когда ставкой в игре становится нематериальная (и сама по себе неприсутствующая) рабочая сила. Поэтому и только поэтому правомочно говорить о “биополитике”. Живое тело, к которому обращаются административные аппараты Государства, – это осязаемый знак еще не реализованной потенции, образ еще не овеществленного труда или, как замечательно выражается Маркс, “труд как субъективность”. [...] Можно было бы сказать, что если деньги – это универсальный представитель меновой стоимости или же самой обменяемости продуктов, то жизнь замещает, представляет саму потенцию производить, невидимый *dynamis*»<sup>14</sup>.

Однако если в «Грамматике множеств» рассуждения о рабочей силе как об апроприированной капиталом потенциальности были встроены в исследование нового исторического субъекта – «множества», – то в «Dèjà Vu and the End of History» речь уже идет о возможности истории как таковой. Действительно, если, как стало ясно из предыдущего анализа Вирно, «нераздельность и неслиянность» потенции и акта – это исток историчности, то капитализм, трансформируя трансцендентальные,

**14** Вирно П. *Грамматика множеств: к анализу форм современной жизни*. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 101.



ИГОРЬ КОБЫЛИН

«DÉJÀ VU И КОНЕЦ  
ИСТОРИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

метаисторические условия возможности истории в фактические элементы исторически определенного способа производства, историзирует сам исток и тем самым подрывает его производительную мощь (*potentia*). Историческое время больше не генерируется, поскольку объемная структура темпоральности, отвечавшая за его генезис, становится «плоской»: больше нет ничего, что не располагалось бы на шкале хронологической прогрессии. А это значит, что из момента, который мог бы с полным правом называться историческим, уходит потенциальность, делавшая его неполным и поэтому (вечно) стремившимся к невозможному насыщению. Эти моменты теперь просто повторяют друг друга, порождая чувство всеобщего *déjà vu*.

**Капитализм – это единственная общественно-экономическая формация, которая превращает в товар возможность как таковую. Эта коммодифицированная потенциальность становится источником прибавочной стоимости, а значит, в конечном счете, и разгадкой тайны капиталистического накопления.**

Маркс, как известно, критиковал натуралистические «робинзонады» буржуазной политэкономии, выдававшей исторически преходящие законы капиталистической экономики за естественные и вечные. С его точки зрения, сами концепции «естественного состояния» могли появиться только на весьма поздней стадии исторического развития:

«Лишь в XVIII веке, в “гражданском обществе”, различные формы общественной связи выступают по отношению к отдельной личности как всего лишь средство для ее частных целей, как внешняя необходимость. Однако эпоха, порождающая эту точку зрения – точки зрения обособленного одиночки, – есть как раз эпоха наиболее развитых общественных (с этой точки зрения, всеобщих) отношений. Человек есть в самом буквальном смысле *δύον πολιτικός*, не только животное, которому свойственно общение, но животное, которое только в обществе [...] и может обособляться»<sup>15</sup>.

Но Вирно показывает, что в определенном смысле капитализм действительно приоткрывает нам «вечные» законы (мета)-истории, присваивая себе антропологически универсальную способность к труду как совокупность всех остальных способностей. Рассматривать это присвоение можно по-разному. Мож-

15 Маркс К. *Экономические рукописи 1857–1859 годов* // Маркс К., Энгельс Ф. *Сочинения*. М.: Издательство политической литературы, 1968. Т. 46. С. 28.

но сконцентрировать внимание на специфических, исторически конкретных способах присвоения. А можно – на неограниченном характере универсальной способности, потенциально относящейся к любой эпохе и любому обществу. В последнем случае иллюзии буржуазных политэкономов по поводу естественности законов рынка (в том числе и рынка рабочей силы) окажутся необходимыми иллюзиями. Однако подлинный исторический материализм способен прочесть в капиталистических гимнах «концу истории» – одновременно ликующих и депрессивных – симптомы конца самого капитализма: коммодификация чистой возможности и ее идеологическое сокрытие не отменяет ее «чистоты», а значит, история не просто не заканчивается – она все еще способна историзировать своего могильщика.

**ИГОРЬ КОБЫЛИН**  
«DÉJÀ VU И КОНЕЦ  
ИСТОРИИ»: ВОЗМОЖНОСТИ  
И ДЕЙТЕЛЬНОСТЬ

